

# КАК МЫ ЕЛИ СОБАКУ

Вот кто? — 1999 - 11 сент. - 92 — моноспектакле Евгения Гришковца

Мне — 31 год. Ему — 32. Я сижу в зрительном зале, а он со сцены травит байки о своей армейской службе. Байки пользуются успехом, а мне обидно: у меня ведь тоже есть что рассказать. Мог бы прямо сейчас выйти и вспомнить пару историй. Девушки бы слушали, и мне было бы приятно.

Сам я вообще-то критик и точно знаю, что начинать рецензию с сообщения о том, что мне 31 год, неприлично. Ну не принято это как-то, что ли, да и потом я же ведь не объявление в разделе знакомств даю, а разбираю спектакль, анализирую, можно сказать, эстетическое явление. Но как бы ни ворчал на меня редактор, я знаю твердо: самая важная информация о моноспектакле Евгения Гришковца (на фото внизу) «Как я съел собаку» в том и заключается, что мне, сидящему в зале — 31 год. А ему, Гришковцу — 32.

Он так и начинает: вот, мол, я, Евгений Гришковец, мне 32 года, раньше жил в Кемерово, теперь переехал в Калининград. Предупреждает: сейчас уйду со сцены, и к вам выйдет мой персонаж. А сам я, говорит Гришковец, вернусь через час пятнадцать на поклон.

Выйдет заново, сядет на стул, повертит в руках матросскую бескозырку и начнет: «Ну вот... это... Что сказать?... как бы... в общем, так...» Самые главные слова сказаны. После них, собственно, уже можно ничего не добавлять. Понимающему понятно сразу: ты пришел на правильный спектакль. Хоть филологи и кричат о засорении русского языка и о том, что слова-паразиты плодятся с кроличьей быстротой, но ясно ведь, что эти полуслова придуманы специально для того, чтоб понимать друг друга с полуслова. Век потихоньку сходит на нет, сопровождаемый нашим неразборчивым бормотанием. Шестидесятники кричали, семидесятники шептались, в восьмидесятые стали говорить много и красноречиво, а поколение 90-х, вот-вот готовое скрыться за тремя нулями 2000 года, можно назвать бормочущим поколением.

Что он может рассказать такого, чего бы не знал я? Он служил три года во флоте на Дальнем Востоке, я — два года во внутренних войсках в Архангельской области. Он описывает свою затверженную навсегда дорогу от дома до школы в городе Кемерово, где добывают уголь, а я вспоминаю два квартала, которые преодолевал ежедневно в течение десяти лет в городе Баку, где добывают нефть.

Вот он пересказывает случай из армейской жизни — о служившем у них в части корейце по фамилии И, который однажды вернулся из увольнения с пойманной где-то собакой. О том, как кореец разделал

ее, приготовил особым образом и как они втроем, запершись с уzbekом Кокой на камбузе, ели эту самую собаку.

Я слушаю его историю, а сам думаю: вот, наверное, мы с ним служили приблизительно в одно время. А в зоне, где я служил, эски имели обыкновенные приманивать глупых поселковцев собак к себе в неволю, за запретку. Наивные щенки добровольно меняли свою голодную свободу на сытую для них зону строгого режима, эски откармливали их какое-то время, а потом поедали.

И однажды я, домашний мальчик из хорошей семьи, зашел в очередной раз в знакомую эзковскую будку, и, нарушая Устав караульной службы, в компании с гражданином Белоконом, осужденным по ст. 144-й за кражу и гражданином Шохиним, осужденным по ст. 108-й за нанесение тяжких телесных повреждений, эту самую собаку и съел. То есть это была, конечно, не та собака, которую ел Гришковец, и вкус у нее, наверное, чуть отличался, но в общем какая, если подумать, разница? Может быть, мы даже одновременно с ним жевали ту собаку, привыкая к необычным ощущениям — он у Японского моря, а я у Белого. Интересно, можно ли подсчитать, сколько нас таких было в тот момент в стране собакоедов?

Это то самое чувство, о котором говорил в одном из последних интервью Бродский, отбывавший, кстати, ссылку недалеко от тех мест, где служил я (но задолго до меня, конечно). Выйти из дома в 6 утра и двигаясь по проселочной дороге на работу в болотных сапогах, думать о том, что миллионы людей по всей огромной стране, протянувшейся от того самого Японского моря до того самого Калининграда, совершают сейчас точно такой же путь. И ты уже не ты, а просто гражданин осужденный (произносить надо с ударением на букве «у»). Или товарищ солдат. Или учащийся средней школы №... Или человек из поколения №...

«Того человека, о котором я вам рассказываю, уже нет», — настойчиво повторяет Гришковец. На этой фразе он и зиждет свой театр. Ведь нет театра там, где нет действующих лиц. В программке спектакля «Как я съел собаку», если бы таковая была (а ее нет!) и сыграли-то спектакль, по словам Гришковца, не больше десятка раз, и все на каких-то фестивалях — для избранной, так сказать, публики), список персонажей мог бы быть таким: Я десять лет назад, Я двадцать лет назад, просто Я. То, что делает Гришковец, — почти литературщина. Все рассказывает и рассказывает, никакого действия. Иногда встанет и, нацепив матросскую

бескозырку, покажет геройский профиль: «Матросы были вот такими». Или — «Океан был вот таким». Но штука в том, что ему и показывать-то почти ничего не надо: мир, о котором он говорит, вызубрен нами до дыр, и он — в очах души нашей.

Вот, говорит он, бывает так иногда: едешь поздно вечером на автобусе и заглянешь случайно в какое-то освещенное окно, а там на кухне стоит мужик в майке. И ты вдруг понимаешь, что знаешь про этого мужика все: и какая у него жена, и что у них в холодильнике, и какие обои в комнате, и какие книжки на полке. И как только ты это поймешь, от желтоватого света, идущего из окошка, говорит Гришковец, делается сразу как-то нехорошо...

Или вот еще из Гришковца: «Все три года на флоте я только и думал о том, что хочу домой. Моешь пол — и думаешь: хочу домой. Бежишь утром на зарядку и думаешь: хочу домой. И вот я, наконец, пришел домой. Проснулся на следующее утро и поймал себя на том, что думаю: хочу домой. С тех пор я думаю об этом все время. Хочу домой! Хочу домой!»

Армейские байки Гришковца во многом вторят идеям французских экзистенциалистов, и, конечно, превзойти то, что было гениальным образом высказано еще в 30-е годы Камю в «Постороннем» или Сартром в «Тошноте», режиссер не в силах. Но собака, съеденная им тогда у берегов Японского моря, была все-таки наша, а не французская. И собак подобных русский театр доселе, кажется, и вовсе не ел. Вряд ли опыт такой постэкзистенциалистской драмы приживется на нашей сцене, и питаться далее мы скорее всего будем тем же, чем и раньше — пищей полезной и калорийной. Но меню свое, что ни говори, разнообразить нам удалось. Хочу домой!

Глеб СИТКОВСКИЙ

